Has been issued since 2002
https://mongoloved.kigiran.com/jour

Vol. 12, Is. 4, pp. 778-800, 2020
DOI: 10.22162/2500-1523-2020-4-778-800

МОНГОЛОВЕДЕНИЕ
(Монгол судлал)
(Mongolian Studies)
ISSN 2500-1523 (Print)

ЭТНОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ

УДК 394
DOI: 10.22162/2500-1523-2020-4-778-800

У каждого своя Сибирь. Два женских рассказа о депортации калмыков

Эльза-Баир Мацаковна Гучинова[1]

[1] Калмыцкий научный центр РАН (д. 8, ул. И. К. Илишкина, 358000 Элиста, Российская Федерация)
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник
0000-0002-9901-0131. E-mail: bairjan@mail.ru

© КалмНЦ РАН, 2020
© Гучинова Э.-Б. М., 2020

Аннотация. *Введение.* Предлагаемая публикация представляет собой введение, текст двух биографических интервью и комментарии к тексту. Обе беседы состоялись в Элисте (2004 и 2017 гг.) в рамках исследовательского проекта «У каждого своя Сибирь», который посвящен важному в истории Калмыкии, но еще недостаточно исследованному антропологами и социологами периоду депортации народа в Сибирь (1943–1956 гг.) и памяти об этом. *Цель и задачи* проекта — показать повседневные практики выживания и калмыков в Сибири. *Результаты*. В спонтанном биографическом интервью с упором на годы депортации калмыков важны не только приведенные факты, о которых мы иначе не узнаем, как только из устного повествования, но и рассказанная история внутренней жизни: чувств и мыслей взрослеющих девушек. К тексту спонтанных интервью был применен текстологический анализ и метод деконструкции текста. Из транскрибированного текста интервью мы видим стратегии выживания женщин, включая инициативность и риск, и сверх-усилия в интеграции юного поколения спецпереселенцев в принимающем обществе. Для многих калмыков того поколения средняя школа была «стеклянным потолком», ограничением в жизненных выборах. В приведенных биографиях показаны гендерные стратегии городской девушки, выросшей в семье образованных родителей, и сельской девушки из простой семьи. В нарративе Р. Ц. Азыдовой мы встречаемся с немыслимым сегодня социальным пакетом для студенток КУТВа, имеющих детей, — так работала политика коренизации в СССР, а также много узнаем о повседневных практиках довоенной Элисты. В рассказе Т. С. Качановой особенно четко проявляется «язык травмы», в первую очередь, памятью тела, лексикой смерти и проявлениями смеха. Текст интервью представляет интерес для всех исследователей депортации калмыков и памяти об этом периоде.

Ключевые слова: репрессии, устная история, Сибирь, депортация, калмыки, нарратив, политики памяти, гендер, дискурс

Благодарность. Автор выражает благодарность Раисе Цебековне Азыдовой и Тамаре Семеновне Качановой за понимание и сотрудничество. Исследование проведено в рамках государственной субсидии — проект «Комплексное исследование процессов

общественно-политического и культурного развития народов Юга России» (номер госрегистрации: АААА-А19-119011490038-5).
Для цитирования: Гучинова Э-Б. М. У каждого своя Сибирь. Два женских рассказа о депортации калмыков // Монголоведение. 2020. № 4. С. 778–800. DOI: 10.22162/2500-1523-2020-4-778-800

UDC 394
DOI: 10.22162/2500-1523-2020-4-778-800

'*Everyone Has One's Own Siberia*': Two Female Narratives of the Kalmyk Deportation

Elza-Bair M. Guchinova[1]

[1] Kalmyk Scientific Center of the RAS (8, Ilishkin St., Elista 358000, Russian Federation)
Dr. Sc. (History), Leading Research Associate
0000-0002-9901-0131. E-mail: bairjan@mail.ru

© KalmSC RAS, 2020
© Guchinova E.-B. M., 2020

Abstract. *Introduction*. The proposed publication consists of an introduction, texts of two biographical interviews and comments thereon. Both the conversations took place in Elista (2004, 2017) as part of the research project 'Everyone Has One's Own Siberia' dedicated to the important period in the history of Kalmykia though not yet sufficiently explored by anthropologists and sociologists — the deportation of Kalmyks to Siberia (1943–1956) and related memories. *Goals*. The project seeks to show the daily survival practices of Kalmyks in Siberia. In the spontaneous biographical interviews focusing on the years of Kalmyk deportation, not only the facts cited are important — of which we would otherwise stay unaware but from the oral narratives — but also the introduced stories of inner life: feelings and thoughts of growing girls. *Methods*. The paper involves the use of textual analysis and the method of text deconstruction. *Results*. The transcribed texts show survival and adaptation strategies employed by the young generation of 'special settlers' in places of forced residence. For many Kalmyks of that generation, high school was a 'glass ceiling', a limitation in life choices. In the narrative of R. Ts. Azydova, we face a today unthinkable social package for KUTV students with children — this illustrates how the *korenization* policy for indigenous populations in the USSR worked, and provides insight into daily practices of pre-war Elista. The story of T. S. Kachanova especially clearly manifests the 'language of trauma', first of all, through the memory of the body, vocabulary of death and displays of laughter. The texts of the interviews shall be interesting to all researchers of Kalmyk deportation and the memory of that period.
Keywords: repressions, oral story, Siberia, deportation, Kalmyks, narrative, politics of memory, gender, discourse.
Acknowledgements. The author extends gratitude to Raisa Tsebekovna Azydova and Tamara Semenovna Kachanova for understanding and cooperation. The reported study was funded by government subsidy — project name 'Sociopolitical and Cultural Development of South Russia's Peoples: Comprehensive Studies of Respective Processes' (state reg. no. AAAA-A19-119011490038-5).
For citation: Guchinova E.-B. M. Everyone Has One's Own Siberia: Two female narratives on Kalmyks Deportation. *Mongolian Studies (Elista)*. 2020. Vol. 12. No. 4. Pp. 778–800. (In Russ.). DOI: 10.22162/2500-1523-2020-4-778-800

Введение

Представленные два женских интервью — часть исследовательского проекта «У каждого своя Сибирь», в котором записываются и публикуются спонтанные рассказы о депортации калмыков, имеющих личный опыт переселения и жизни в статусе спецпереселенцев [Гучинова 2005; Гучинова 2008; Гучинова 2019а; Гучинова 2019б; Гучинова 2019в]. «Устная история возвращает историю людям, — писал Пол Томпсон, — и это история, рассказанная их собственными словами» [Томпсон 2003: 303]. Это особенно важно, потому что история депортации калмыков покидает коммуникативную память в связи с уходом представителей того поколения, и набирающая обороты в социальных сетях постпамять все чаще показывает эту страницу истории народа схематично, в черно-белых тонах. А в рассказах участников мы видим жизнь во всем ее разнообразии — с бедами и радостью, голодом и праздниками.

Калмыки долго не желали вспоминать о депортации. Но когда они заговорили об этом, они по существу перестали быть репрессированными, потому что «угнетенные не могут говорить» [Спивак 2001: 667].

Гендерные линзы придают особое звучание рассказам двух калмыцких женщин, которые совсем юными были депортированы в Сибирь и там смогли продолжить обучение в школе, а Р. Ц. Азыдова — поступить и закончить институт. Эти две беседы состоялись в разное время: с Раисой Цебековной — в 2017 г. в республиканской больнице, с Тамарой Семеновной — в 2008 г. в Элисте у нее дома.

Интервью были свободными. Я просила рассказать о себе и своей семье, начиная с рождения и заканчивая возвращением в Калмыкию из Сибири. Было важно, чтобы интервью было спонтанным, собеседницы не готовились специально к разговору, а рассказывали своим обычным языком, используя первые приходящие в голову формулировки. Это отвечало моим исследовательским задачам: проследить, какие образы, какие сюжеты и оценки всплывают при воспоминаниях о Сибири. Наши беседы я записывала на диктофон, расшифрованные тексты не были редактированы — этого требовала методика, хотя грамотная речь филологов с большим педагогическим стажем оставляет такое впечатление.

Слова Г. Ч. Спивак относятся к политически и экономически зависимым группам, и особенно — к женщинам в этих зависимых группах, которые дополнительно подчинялись своим мужчинам. Хотя модернизационные процессы в XX в. в Калмыкии начались в 20-е гг. и уже в середине XX в. мы видим по приведенным ниже рассказам, как появляются и закрепляются тенденции на получение женщиной образования как основы построения ее самостоятельной жизненной карьеры. Перелом в традиционном подходе к гендерным ролям в обществе произошел именно в Сибири, когда в декабре 1943 г. именно женщинам пришлось нести основную ответственность за свои семьи: за малышей и стариков, потому что мужчины были на фронте.

Мне показалось, что эти два нарратива также были первым цельным повествованием о своей жизни с упором на сибирский период, в которых подбором сюжетов и слов рассказчицы невольно конструировали свою жизнь. Именно осмыслением жизни вызваны оценки сибирского периода сквозь десятилетия — когда оптика убирает случайное и мелкое, оставляя в памяти важное и ценное.

Р. Ц. Азыдова

Родилась я 8 мая 1927 г. в Элисте. Отец мой Цебек-Дорджи Эрдниевич, журналист, работал в газете «Ленинский путь». А мама моя 1908 г. р. — краснокосыночница. Маму звали Кооку Нарановна Азыдова, она из бедняцкой рыбацкой семьи приволжских калмыков. Папа мой — ики-бурульский, он был из более-менее интеллигентной семьи. Его отец закончил училище в Ставрополе, имел хороший дом и был попечителем, что ли, от Астрахани этого улуса. Дом его был обставлен по-европейски, он хорошо играл на скрипке, у него была хорошая библиотека. Самое главное — он в Ики-Буруле построил школу, которая была жива до прихода немцев, немцы ее разрушили, а после возвращения ее восстановили, и недавно она праздновала 100-летие. Конечно, они меня приглашали на празднование, но я не смогла поехать, плохо себя чувствовала. У нас дома хорошая библиотека, и я собрала пять или шесть ящиков книг для школьной библиотеки в подарок.

Папа с моей сестренкой остался в Элисте, а меня мама взяла с собой в Москву. Маму направили в Коммунистический университет трудящихся Востока (КУТВ). Мы с ней пять лет жили в Москве. Мама закончила КУТВ, она там училась не одна, с тетей Гиланой Килгановой, они вместе жили в одной комнате, и мы с Витей Килгановым ходили в детский сад, который был вторым домом по Тверской улице от Пушкинской площади. Клуб находился в Страстном монастыре. Это было до школы. Наш детсад был круглосуточный. Тогда было шесть рабочих дней и выходной. На выходные нас с Витькой забирали домой. Мы говорили по-русски, и калмыцкий язык я совсем не понимала, пока в Сибирь не попала. В Сибири я научилась понимать.

Сестренка была младше, она заболела и умерла. Я осталась одна в семье. Детство мое было счастливое. Единственный ребенок в семье, безусловно, растет в любви. Если считать, что в жизни бывает везение, то мне везло всегда — и с людьми, и с обстоятельствами в жизни.

Мы приехали в Элисту, и в школу я пошла в 1936 г., в среднюю школу № 2. Она находилась там, где сейчас горотдел милиции на ул. Клыкова. Первая школа стояла там, где дом на Хонинова, 4. В этом месте была трехэтажная школа № 1. Где третья школа была, не знаю. Перед войной открыли новую школу № 4, где теперь находится Технический лицей. Наш класс перевели в новую школу, которую построили прямо напротив кинотеатра «Родина». Я проучилась один год в 4-й школе и вернулась во 2-ю школу.

Жили мы в 5-м жилдоме. Он и сейчас жив. А моя подруга Клара Педерова жила в 6-м жилдоме. Там было так: два жилдома фасадом стояли к улице, а наш стоял торцом. Мы всем двором дружили: дети из четырех домов. Там жило начальство. В 6-м жилдоме жили секретари обкома, работники совнаркома, редакций. С 1-го класса мы учились вместе с Кларой Педеровой, Антоном Романовым, Клавой Басановой. Юра Клыков жил напротив, в доме работников НКВД. Сейчас это какой-то оздоровительный центр МВД. Мы с ним не дружили, он был немного старше и хулиганистый.

Дома тогда так строили, что подъезды были сквозные. Из него можно было выйти и во двор, и на улицу. А на первом этаже 6-го жилдома был магазин канцелярских товаров, я там стояла и что-то выбирала. Вдруг услы-

шала радио, и все побежали на площадь. Так в моей памяти сохранилось начало войны. Мы перед войной успели закончить семь классов. Мы с Кларой были две отличницы. Из учителей 4-й школы я запомнила выпускницу Ленинградского пединститута молодую красивую Баскакову, ее муж работал в наркомате просвещения, они вдвоем приехали из Ленинграда. А в начальной школе меня учила все четыре года Александра Борисовна Ункова. Мы ходили в музыкальную школу, я закончила только пять классов, Клара — шесть, и началась эвакуация.

Эвакуировали нас так. Нам дали автобус и сказали: «Соберите вещи». Это было в начале августа 1942 г. 8 августа немцы уже заняли Элисту, или мы уехали 8-го, а 9 августа немцы заняли Элисту. Пришли и сказали: «Собирайте вещи, только то, что можно взять с собой». Ну и побежали мы садиться. Я запомнила такую сценку: мамы почему-то нет, а посадкой командует Александра Александровна Горева, Кларина мама. А там через скверик, который идет перед 6-м жилдомом, идет ее сын Гена, младший брат Клары, и тащит в руках швейную машинку. Он подошел, и она его гонит: зачем тебе эта машинка нужна, тут людям сидеть нет места. Он ушел и вернулся, в руках принес четверть — такую большую бутыль с подсолнечным маслом. Против масла уже не возражали. Привезли нас в Приволжье, там нас уже ждали. В райкоме партии знали, что едут дети из семей работников горкома и обкома. Нас встретили, покормили, посадили на баржу, и на барже по Волге повезли дальше и высадили в селе Володарское Астраханской области.

Мы с папой жили в каком-то доме, у него был туберкулез в закрытой форме, и его в армию не взяли. Он с нами эвакуировался. А маму не отпустили с работы, она в горкоме партии работала. Еще у меня была сестренка Кишташка, ей года три, наверное, было. Сестра, папа и мамина сестра тётя Цаган — так мы жили. Сестренка заболела, что-то вроде дизентерии было. Она умерла, ее там похоронили. Через короткое время заболела я. Папа испугался и повез меня назад в Приволжье. Запомнилась такая сцена. Мы плывем. Немцы рвались в Астрахань к заводу Ленина. И мы попали под бомбежку. Бомбы падали в воду, и я слышала всплески воды от бомб. Помню, я лежу, папа закрывал меня своим телом. Но мы благополучно доехали. В Кануково уже мама нас встретила. Она там работала — так сказать, «подпольный обком действовал», он был расположен в здании Приволжского райкома. Остаток эвакуации мы здесь провели.

В Кануково я закончила восемь классов. Элисту освободили 1 января. Родители вслед за войсками входили в Элисту 1 января. По дороге… Гололед был, и редакционная машина — грузовик — перевернулся, и папу придавило ящиками с шрифтом. Его, раненого, привезли в Элисту, положили в больницу. Он так и не поправился, умер в больнице 14 октября. А меня не взяли в Элисту, я с тетей осталась в Кануково до окончания учебного года, и летом 1943 г. мы приехали в Элисту, пошла в девятый класс. Проучилась первую и вторую четверть. Когда мы приехали после эвакуации, в газете появилась статья об Олеге Кошевом. В моем классе оказалась девочка, которая с ним дружила в Ровно, где он жил, пока отца не перевели на работу в Краснодон. Мы тогда все написали письмо матери Олега.

Тогда рассказывали и про Бадму Адучиева, он был комиссаром партизанского отряда, его называли «Однорукий»: у него одной руки до локтя не было. А мы до войны вместе жили в одной секции, это когда одна кухня на две квартиры. А Юрка Клыков был задиристый и верховодил среди мальчишек, такой, конечно, мог и в партизаны пойти и погибнуть геройски. А Володя Косиев был совсем другой: спокойный, тихий, интеллигентный. Он был заместителем секретаря школьной комсомольской организации. Володя был хороший. Он меня в комсомол принимал до войны. Всех тогда приняли, а меня не приняли: мне еще не было 14 лет. Принимали в марте, что ли, а мой день рождения в мае. Сказали, в следующий раз. Все вышли радостные, одна я вышла и плачу, прямо рыдаю. Кто-то забежал на заседание комитета и говорит им: ой, да она сидит и плачет. Володя выходит и говорит: «Ну что ты плачешь? Мы тебя примем, но только через два месяца». Они сжалились, меня приняли, но сами же сказали, что тебя могут не утвердить на заседании бюро горкома комсомола. Но я согласилась, пускай. И я получала билет в мае.

Я ходила с короткой стрижкой, у Клары были косы, небольшие, но косы. Один раз мальчишки — Антон Романов и Гена Коротков — позвали нас за цветами в степь. Тогда выйдешь за кирпичный завод, а там уже степь — ну мы и пошли. А потом Александра Борисовна их вызвала и выговор сделала. Никто ни за кем явно не ухаживал. Отец Клары Дорджи Педеров был нарком просвещения, а Кларина мама была инструктором обкома партии. Еще тогда они разошлись. Дети остались с матерью, конечно. А Дорджи Педерович женился на своей секретарше. Тогда разводы были редкими и поэтому резонансными. Этот развод был громкий.

Был еще один громкий развод. Помню, дядя Гаря Манджиев работал в совнаркоме управделами. У него были две дочки Эмилия и Ирина, их мама тетя Наташа не работала. Он уехал в командировку, приезжает, а жены нет, девчонки плачут. Она оставила их на прислугу тетю Машу и ушла к Бадме Джимбееву. У них была когда-то старая любовь, но она вышла замуж, родились дети, а когда они встретились, чувства снова вспыхнули. Она ушла к нему. Так девочки остались с отцом. У Бадмы был красивый голос. Он ушел на фронт и песню «Нюдля» про нее написал, про Наташу…

Родители Антона жили в Западном улусе, были простые люди из рода *ахнуд*. Потом это был совхоз «Пролетарская победа». Старшая сестра Антона Гилана Сайковна была замужем за О. И. Кукеновым, председателем радиокомитета. Когда Антону исполнилось шесть лет, Гилана его забрала к себе. Сестра жила в двухэтажных домах, на месте которых позже построили телецентр. Он жил у сестры и пошел вместе с нами в школу. Там жили Саня Гунаева, Антон Романов и Эльза Элюева. Это была наша компания.

Я знала весь репертуар нашего драмтеатра. Во-первых, мой двоюродный братишка там постижером работал, парики делал. Братишка погиб на фронте под Сталинградом, был пулеметчиком. А во-вторых, мы, кто учился в музыкальной школе, ходили туда играть на пианино, так как в частных домах пианино не было. Пианино или рояль в Элисте были в драмтеатре и в радиокомитете. Мы с Кларой ходили заниматься на пианино туда. Нас с Кларой все артисты знали, они нас заводили со служебного входа на спектакли. Тогда

было две певицы: Улан Барбаевна и Цаган Иванова. Улан Барбаевна пела все торгутские песни.

Декабрь 1943 г. никогда не забудешь. Закончилась вторая четверть, и мы готовились к балу-маскараду. Тогда Новый год все так отмечали. Обязательно устраивался бал-маскарад. Я готовила костюм: Герб Советского Союза. Я помню, у меня на голове была сделана башня Кремля, тут глобус, тут колосья, тут написано «Пролетарии все стран, соединяйтесь!». Но не пришлось надеть.

Мама пришла с работы, поужинала и говорит: «Всех работников обкома и горкома собирают на экстренное совещание в десять часов вечера». И ушла. А я уроки сделала и легла спать. Уснула, вдруг меня мама трясет за плечо и говорит: «Рая, вставай». Я спросонья говорю: «Зачем?». «Мы уезжаем». «Как уезжаем?». «Давай собирай свои вещи, а мы будем свои вещи собирать». «Кто еще уезжает?». «Все уезжают». «Куда мы уезжаем?». «Наверное, в Сибирь». «И дядя Нальджи уезжает?». «И он уезжает». Я ничего понять не могу. Но встала, стала собираться. Нам сказали ничего лишнего не брать, а только то, что можно унести.

Все мы собираемся. Тетка жарит борциги, рядом с нами был дом Манджиевых, у них мы к Новому году готовили подарки на фронт — мясо и борциги. А масло и мука были у нас. Тетка говорит, какие теперь подарки, будем жарить борциги.

Потом капитан НКВД к нам зашел с красноармейцем, у того винтовка за плечом и говорит: Кооку Нарановна, все, что можете унести, берите с собой. У нас один ковер был огромный, неподъемный. А второй ковер небольшой — надкроватный, на нем был изображен Совет в Филях. «Забирайте ковры с собой». «Да как же, стыдно же, я уже их соседям отдала». «Тогда мы заберем». Они притащили нам эти два ковра и мешок горчицы. Потом мама этот мешок горчицы продала в Челябинске. «Часа в три ночи мы вас сами погрузим и отвезем в кинотеатр и сами разгрузим». Мы сидели в малом зале кинотеатра.

А Клара еще оставалась в Кануково, там она тифом заболела, уже выздоравливала. Ковры помогли на месте. Мама сразу начала работать в зооветтехникуме, и нам дали комнату на втором этаже деревянного дома. Как-то мы решили его помыть под дождем, помыли, а поднять не можем. Оставили на перилах сохнуть. Утром просыпаемся, а ковра нет.

Привезли нас в город Куйбышев Новосибирской области. Это везение, что мы попали хоть в маленький, но в город. Встречали нас плохо. Так вроде ничего встретили, привезли куда-то в клуб. Потом сани подъезжали, нас выкрикивали, и мы садились, и нас везли на поселение. Приехали мы к одному дому, все закрыто. Мы стоим — мама, тетя, я и 6–7-месячная сестренка. Никто не открывает. Вдруг подходит из дома напротив русская женщина и говорит: «Ой, Фадеевна говорила, что никого не пустит. Специально куда-то ушла и неизвестно, когда придет. Идите к нам». У нее муж, татарин, сказал: «Иди, заведи людей, что это люди на морозе стоят». Все равно Фадеевна пришла домой ночевать. Орет, плачет: не пущу, я боюсь, куда хочешь, их вези. Оказывается, слух прошел, что людоедов привезут. А она одна живет: сын в армии, а дочь учится в ФЗУ в Барабинске. Человек, который нас привез, убеждал ее долго: «Ну ты на них посмотри, две женщины, два ребенка — ну какие они людоеды». Он ее уговорил только до утра.

Очень хорошо помню, мы на полу ночевали. Утром просыпаюсь, вижу мамин силуэт, она одевается. Там поздно светает. «Ты куда?». Мама: «Пойду найду школу, ты уже сколько пропустила, уже 20 января». Ушла. Потом приходит и говорит: «Завтра пойдешь в школу, но в 8 класс». «А почему, я же 2 четверти 9 класса закончила». «Потому что табеля с собой нет, директор не хочет тебя так принимать». В школе меня встретили нормально, ни разу меня никто не дразнил — ни одноклассники, ни учителя. Со мной подружилась Ида Фурман, еврейка, сразу потянулась ко мне. У меня сохранилась фотография 10-го класса. Повезло мне, и со школой повезло, и с городом.

Маму взяли в контору гормолзавода счетоводом. Тогда в бухгалтерии было 3 должности: бухгалтер, счетовод и кассир. Проработала несколько месяцев счетоводом. У них на всех есть дела, тем более она партийная была. Там узнали, что мама закончила университет, попросили принести диплом. Они копию диплома посылали в Москву, потому что не слышали про такой вуз и, оттуда пришло подтверждение: можно преподавать в полном объеме. Она преподавала географию, конституцию, а историю преподавать ей не давали.

Когда я в десятом классе училась, меня актриса Галина (фамилию не помню) устроила в интернат для трахомных детей, она работала там воспитателем, до войны она как раз ГИТИС закончила. Я там работала ночной дежурной. Ночью делала уроки, утром шла в школу.

А после окончания школы мы, 8 человек из одного класса, поехали поступать в мединститут. Но все, кроме меня, завалили физику. У нас в школе не было учителя физики. Все мужики на фронт ушли. Директриса была женой первого секретаря горкома партии, и она нашла какого-то инженера-золотопромышленника, который должен был за полгода с нами пройти курс двух лет. Ну и что мы знали? Ничего мы не знали. А в аттестате у меня стояло пять, потому что мне попал первый билет. А на вступительных экзаменах на два вопроса я хорошо ответила, а на третий не смогла. Мне поставили тройку. А там объявление: все, кто сдал экзамены, должны пройти личное собеседование с ректором. Это был 1946 г. В тот год был приказ — набрать 30 % фронтовиков-мужчин. Поэтому ректор сам решал, кого сразу зачислять, а кого на конкурс. Захожу, он спрашивает: «А как же так получилось: в аттестате пять, а на экзамене три?». Я объяснила все. «Отец где?». «Нет отца». «Мать есть?». «Есть». И он меня принял.

Приезжаю домой, а там уже все знают, что Раю приняли. Комендант меня отпускал: я за месяц писала заявление на учебу и получала разрешение. Начала учиться, дали общежитие, поселилась я, сгоняли нас на картошку, вдруг говорят, что общежитие ликвидируется, в нем будут открывать госпиталь, с запада привезли раненых. Ищите себе квартиры, а цены на квартиры неподъемные. Уже учеба началась. Я случайно наткнулась на … Когда анатомка переезжала, я увидела трупы, ящики с костями, испугалась. Сразу домой захотела, перестала спать по ночам, с криками просыпалась. Девчата написали моей маме, что Рая не спит, а как заснет, то с криками просыпается, не ест. Мама приехала перед 7 ноября и увезла.

А твой отец, Гучинов Мацак, поехал зачем-то в Алтайский край, в Бийск. Приехал и говорит мне: «Там есть учительский институт, в котором надо

учиться всего два года, и будешь иметь диплом преподавателя 5–7-х классов». И я загорелась. Во второй раз он поехал, взял мои документы и сдал их в приемную комиссию.

Я ехала в Бийск с одной бумажкой — с разрешением коменданта на проезд. Мама моя заранее поехала в Барнаул в крайоно, и поехала за мной в Бийск и стала работать в мужской средней школе № 3 преподавателем. Перед моим окончанием, за полгода, она сходила в крайоно[1] и сказала, что дочь закончит через полгода и она хочет в одной школе преподавать. Ей дали направление в Кытмановский район, село Кытманово, райцентр. Она приехала, собрала тетю, сестренку мою и перевезла. Началось распределение. Смотрю, а той школы в списке нет. Я перепугалась уже, думаю, куда-нибудь заткнут меня и, буду жить одна. А тогда везде требовались преподаватели. Когда я зашла, спрашивают у меня: «Вы выбрали себе место работы?». «Нет». «А почему?». Стала говорить, что мама была в крайоно и, ей обещали меня в ту же школу направить. Они говорят: «Подождите, да, есть». Пошла открепляться в комендатуру. Мне говорят: «Да, вот вам сопровождающий». Какой сопровождающий? Конвоир?! Меня привезет туда милиционер? А что люди скажут, что арестованную привезли? Я аж заплакала. А что делать? Договорились, что встретимся на перроне такого-то числа. Вышла, села на завалинку и сижу, жду, когда рабочий день закончится. Он вышел и говорит: «А что ты тут делаешь?» Я говорю: «Я Вас попросить хочу, Вы не в этой форме, а в другой одежде езжайте, а то мне стыдно будет». Он говорит: «Не переживай, иди домой». Я всю ночь не спала. Стою на вокзале, жду милиционера. Вдруг меня кто-то за плечо берет: «Ты меня ждешь?» Я смотрю: дядька в коричневом пиджаке. Я ему: «О, какое Вам спасибо большое». Он еще мой чемодан тащил. Отнес по адресу, потом пошел в милицию, ночевать где-то надо. Я говорю: «Мама, пускай он у нас ночевать останется». Утром он позавтракал, говорит: «Пошли». «Куда?». «В милицию, я тебя должен под расписку сдать». Он сдал и уехал. Вот такие люди попались. Хороших людей везде много: и ректор, и этот милиционер.

Я ни дня не работала на тяжелых работах. В школе я была классным руководителем 6Б, а в остальных классах вела русский и литературу. У нас еще только одна была молодая — учительница биологии, донская казачка. Мне давали и такой кружок, и другой кружок, и еще в вечернюю школу направили, там в основном демобилизованные офицеры, которые работают в милиции. Никто не хотел из местных, потому что у всех свое хозяйство. Мне было 22 года, но выглядела я молодо. Я не хотела учить взрослых, боялась, что милиционеры меня не будут слушать. Позже я благодарила завуча. Я не ходила расписываться в комендатуру каждый месяц, а они все у меня учились, и они мне на занятия приносили журнал, и я расписывалась.

Как-то в Сибири вдруг приходит письмо от Клары Педеровой из Житомира, это было в 1947 г. Стали переписываться. Потом она вдруг приезжает ко мне в Бийск навестить. Я еще подумала, как это мама отпустила девчонку на другой конец страны и не в санаторий, а в Сибирь. Она приезжала в летние каникулы, наверное, на две недели. И с тех пор мы с Кларой все время переписывались, считай, 80 лет дружили.

[1] Краевой отдел народного образования.

Когда умер Сталин, мама моя ревела. Она переживала, плакала. Я ей говорила: «Да ты что, с ума сошла, что ли?». Мама переживала. Помню, что погода была отличная. 5 марта в Сибири обычно холода, а тут все растаяло, так тепло было.

К нам дважды приезжали свататься. У меня и в голове не было замуж выходить. Я в первый раз человека вижу, куда же соглашаться? У меня всегда много подруг было.

В 1955 г. освобождали от учета членов партии. Нашу семью освободили. И сразу мама засобиралась. Она переписывалась с матерью Адьяна Букаева, она писала, что у них калмыков много. А там, где мы жили, калмыков не было. И мы поехали в Алма-Атинскую область, в с. Узу Агач. Мама пошла сразу работать в сельскую школу им. Белинского. А я работала в 7-летней школе — через речку.

Мама со многими переписывалась, и в декабре 1956 г. ей пришел вызов из обкома партии, и мне пришел вызов из обкома комсомола. Но школа не могла отпустить одновременно двоих преподавателей. Решили, что вначале поедет мама, а я отработаю третью четверть и позже приеду. И перед отъездом мама говорит: «Давай съездим во Фрунзе, за 200 км (там тетя Нина Пандинова жила), посмотрим Фрунзе». Сели в восемь утра в автобус, и к часу уже были на месте. Тетя Нина нас приняла хорошо. У нее жила девушка, которая училась медицине. Она меня уговорила пойти вместе с ней на калмыцкую вечеринку. Пошли в какой-то дом калмыцкий. Зашли, большая комната. В углу на скамье сидит старая женщина. Если сейчас рассуждать, то не старая. Тогда же казалось, что старая. Она говорит: «Рая, ты?». Это была мама Риты Хазыковой, тетя Галя. «Садись рядом», и стала рассказывать, кто живет во Фрунзе. Вдруг дверь открывается, и трое молодых людей заходят и спрашивают: «Где она?». «А, вот она». И подходят ко мне. Это были Антон Романов, Петя Шарапов. Оказывается, элистинская молодежь собиралась в доме у Эльзы Элюевой. «Как вы узнали, что я здесь?». Оказывается, тетя Нина, дядя Цагада поехали навестить Бальджирму, и сказали, что я с ней приехала и пошла на вечеринку. Они зашли в один дом, потом во второй дом и, в третьем доме они меня нашли. Когда мы уезжали, договорились, что они втроем приедут в гости. Поехали в Алма-Ату. Ночевали один раз у Ирины и Эмилии, во второй раз — у Пети Ланцанова, он тогда был женат на Тамаре Буриновой, они жили с тетей Фросей и дядей Михаилом.

В Калмыкию приехала я после 3 четверти 1958 г. Примерно 30 марта они посадили меня с теткой на поезд. Мы поехали через Москву. Мама говорила, что дорога через Астрахань немного короче и немного дешевле. Но я сказала, только через Москву. Меня там должна была встретить Белла Монтаевна Надбитова, она на каких-то курсах там была. Она меня встретила, тетку мы отвезли к Хомутниковым, у него жена Очка Колпаковна была приволжская. А сами гуляли по Москве.

Т. С. Качанова

Мы — терские, с Терека моя семья. Наурский район, станица Ишорская, хутор Мельников, так у меня записано в паспорте. Я родилась там 19 ноября

1938 г. Отец, сколько мать рассказывала, был охотник. Первый раз мать была замужем, у нее было четверо детей, Хогтин — фамилия ее первого мужа. В 1932–1933 гг. было дело бухаринцев, а он был председатель сельского совета, его арестовали, он умер в тюрьме. *Мини эцк арсмч бәәҗ* (мой отец был спекулянтом. — *Э.-Б. Г.*) , он спекуляцией занимался, перепродажей. *Цә-мә* (чай. — *Э.-Б. Г.*) с Кавказа привозил и тут продавал. Сестра материна жила на Кавказе, и она попросила моего отца, чтобы он привез ее с детьми на Кавказ. Потому что здесь (в Калмыкии) был страшный голод, а там, видимо, было получше. Они же терские, знают друг друга. Он приехал, и мать с детьми повез на Кавказ, в Чечню. У матери было четверо детей в Башанте, они уже с голода пухли. Они приехали в Чечню и, *хот идәд* (еду съели. — *Э.-Б. Г.*), с голода переели, умерли. Осталась одна дочь. Мой отец был один парень в семье, его родители рано женили и, у него тоже была одна дочь, ровесница моей сестры. Он развелся с женой, уличил жену в неверности, что ли. Отца звали Семен Михайлович, его называли на калмыцкий манер Семкя. Мы все с русскими именами. Маму звали Авдотья, а по-калмыцки *Үзмә*, у нее калмыцкое имя было. Отец был разведен, семь лет как ходил неженатый. Он женился на моей маме. У матери от него было четверо детей, один ребенок умер.

А вообще-то, когда автономию организовывали, всех калмыков с Кавказа и оренбургских перевезли в Башанту. Они какое-то время пожили, и некоторые уехали. Наши оказались в Грозном.

В Сибирь мы отправились, трое детей было. Отец был 1907 г., он моей мамы младше был на 7 лет. И в 1941 г. ему вначале давали бронь, почему, не знаю — потом отца в 1942 г. взяли на войну, на фронт. Оттуда он писал матери, что был ранен в первый раз, но долго не лежал в госпитале, на фронт отправили. Второй раз был в ногу ранен, но тоже долго не лежал, месяц всего, был выписан и снова на фронт. Он погиб 23 мая 1942 г. где-то под Ростовом. Всего пять месяцев служил, два месяца в госпитале лежал. Служил в пехоте, он же неграмотный был. А отец его был, видимо, грамотный, так как он работал управляющим у помещика. Управляющий, наверное, грамотный был. Похоронка была, мы ее получили там, на Кавказе.

В 1942 г. наши стали отступать от Грозного. Наши стали отступать, и красноармейцы, когда проходили, говорили населению: «Уходите, здесь будут такие бои, ничего не останется». И наши двинули в Башанту на коровах. Мать всегда вспоминала Гудермес, Святой Крест. Я все думала: что за Святой крест, оказывается, это Буденновск. Через эти края они на телегах перебрались опять в Башанту.

Документы они закопали в землю, шли без ничего и, выселяли нас отсюда, из Западного района. Деревня была, я потом искала по карте, не нашла — Ротофани. Там же немцы, эстонцы жили, это их название. Как шли с Кавказа, помню смутно, как в тумане. Помню, что ехали на телегах, костры жгли. Мать рассказывала смешные истории. Например, самолет летит, бомбы бросает, а один мужик взял колесо от телеги и держит нал головой — спасается. Когда бомбят-то, не до смеха, а когда самолеты улетят, вспоминают, кто как спасался, и начинают смеяться.

Мать моя тяжело болела. По нынешним временам, у нее что-то вроде саркомы было между лопатками на спине. В Башанте была одна русская женщина, которая лечила. Она вылечила, мазала чем-то, молитвы читала, настои давала. У нее выпал кусок мяса весь в дырочках. Потом вот такой шрам остался на спине. В Сибири в бане у нее многие спрашивали: «Откуда у тебя шрам, это ранение?». Она смеялась, что от бомбы.

Чуть-чуть помню, как нас выселяли. Видимо, слух шел. У кого родственники с немцами ушли, те готовились, продукты собирали. А мы ходили, гордо голову подняв, мы — семья красноармейцев, нас выселять не будут. А наша семья никуда не готовилась, для нас это была неожиданность. Утром рано постучались в двери, зашли два красноармейца. Сказали: «Вы выселяетесь, собирайтесь». Должна сказать, они как-то человечно отнеслись. Наши же не знают, что брать. Они сказали, берите все, что есть, ткани все. Я помню, как из подушек перо вытряхивали. Потом нас посадили на машины. Я помню, что скот… [плач]…такой рев стоял, так они мычали, собаки лаяли, как будто солнечное затмение.

Выселяли в товарном вагоне. Нам, что ли, места не хватило? Вот в вагоне с обеих сторон нары двухэтажные, а в середине пусто, и мы на таком месте лежали — мать, она еще плохо ходила, нас было мать, сестренка, младшая сестренка, брат. Нас было трое малышей, сестра старшая и мать 1900 г. р. Старшая Зина, 24 г. р., брата звали Леня, 35 г., у него было еще калмыцкое имя Дамба, я с 38 г., а сестренку младшую звали Нина, 41 г. р. Мы лежали на бревнах между полками, а поверх, видимо, были перины. Перины наши взяли. Я помню, у нас много перин, подушек было много. Ну вот какие курьезные случаи были в вагоне? Во-первых, у нас умер дед какой-то. Родственники просили, видимо, не говорить никому, чтобы его довезти и там похоронить. Дед напротив меня лежал. А когда человек умирает, он длиньше становится или вытягивается что ли? Я лежала головой впритык к его ногам, а потом прямо на ногах. Он так полмесяца и лежал. Но холодрыга такая была в вагоне, ни запаха, ничего не было. Довезли его.

Что еще было такого смешного или трагического? В туалет как ходили? В вагоне окошко маленькое было. Зима, холод, мороз. Такие морозы были жуткие. И ходили в медный тазик, и его выливали в окно. Но кто-то тазик выронил в окно, он вылетел от скорости. Там жалели его, кто-то чуть ли не плакал. Потом дыру сделали в вагоне, а посередине вагона была буржуйка. Какие-то там начальники райкомовские ехали, они лежали молча, они-то больше шокированы, простой народ относился попроще.

Мы выжили благодаря моей сестре, которая 24 г. р., она такая боевая была, четыре класса школы закончила, курсы трактористов закончила еще до войны. Она весь вагон держала, где-то добывала дрова и буржуйку топила. Бегала за кипятком, самая активная была. Остальные, видимо, лежали трупом, молча. Где она спала, не знаю, места ей не было, видимо, в наших ногах. Вот так вот мы ехали.

Нас привезли в Омскую область, видимо, в военный госпиталь. Там видела я части человеческого тела — то рука, то нога валялись — говорили, что от раненых остается. Погнали всех в баню, завшивели же все. Одежду отбирали и

на дезинфекцию – в жарку. Люди были голодные. Помню, нам всем давали по крохотному кусочку мыла и некоторые люди ели это мыло.

В село одно привезли. Конечно, местные не хотели нас пускать домой, кричали всякое: «Людоедов привезли, изменников привезли». В Омской области мы перезимовали. А потом поехали в Тюменскую область. А почему? У материной сестры был дед, его на войну не брали, видимо, в возрасте были. Всех по спискам: у кого иждивенцев и рабочих одинаковое количество, тех на рыбалку в Ханты-Мансийск. А у кого иждивенцев много было, не хотели брать. Кто в Омскую область сразу попал, им было легче. А кто в Ханты-Мансийск, там было ужасно. Во-первых, там зима дольше длится. Привезли к осени, уже холодно было. Поселили в клубе и там по деревням брали, кому сколько надо. Потом нам дали жилье, видимо, были пустые дома бывших кулаков. Там были домики, в которых селили сразу несколько семей. В нашем доме — одна комната, большая русская печь. Кулаки говорили: «Ничего, выживете». Нас, когда привезли, в лес выбросили.

Мы жили в этой деревне, нас пятеро, и к нам поселили еще женщину с двумя детьми. А домик на комнаты не делится, одна комната и в ней большая русская печь. В первую зиму эта семья из трех человек погибла. Получилось так: сын пошел в лес, за дровами что ли, и замерз. Второй пошел искать и тоже пропал. И мать не вынесла. Что-то они в одну зиму умерли, это 1945 г. был.

Я заболела, у меня было воспаление легких, и я болела долго. А сестренка заболела и за три дня умерла. Тоже воспаление, но какое-то сильное. Топили плохо, а мы же маленькие, выбегали в холодные сени, мать ждали, звали, замерзали, так и простывали.

Картошку мерзлую собирали. Мать на ток ходила, там овес или ячмень был. Мать зерна приносила, прятала в штанах. Принесет зерно, на сковородке пожарит и мы едим. Как снег растаял, мы ходили на поле собирать прошлогоднюю картошку. Чем мы от русских отличались, у них хоть картошка была. Все, что у нас было из утвари, пиалки (*шаазң*), все меняли на еду — на несколько картошек. Вот так и жили.

Когда мы уже подросли, я в школу пошла. Там жили одна семья немцев, одна семья украинцев, мы и местные. Местные нас обзывали, всегда говорили «изменники», избегали нас.

Сестру забрали на лесозаготовки в 1947 г. Это был тяжелый год, по всей стране голод.

А как я училась интересно. В школу я ходила до Седьмого ноября, а потом сидела дома. Потом снова шла Первого мая. (Слезы на глазах. Ой, я не думала, что я расстроюсь так). Вот так я училась первый год. Я в первом классе полгода не училась, во втором классе полгода не училась. В третьем классе мне, видимо, трудно было. Наша учительница Вера Ивановна со мной мучилась, заставляла меня читать и пересказывать книжку «Звездочка».

По-русски мы хорошо говорили. Моя мать говорила как донская казачка. Мы же среди казаков жили. Я голод переносила более-менее легко. А мой брат, 1935 г.р., он очень тяжело переносил. Сестра моя приносила карточки. Когда хлеб был, мать делила хлеб на всех. А я свою половину всегда брату отдавала.

Однажды все ушли на работу, а хлеб забыли запрятать. Я целый день этот хлеб щипала. И не поняла, что его съела.

Калмыки ели падаль. Что-то корма мало было, скот дох. *Хальмгуд* (калмыки. — *Э.-Б. Г.*) раскапывали скотомогильники и приносили мясо. Варили его и ели, бульон не пили, только мясо. Нормальное мясо варишь, пенку снимешь, и оно просто кипит. А если падаль варить, то все пена, все время пенится. Это мясо ели, ничего, никто не умер.

Мы уже переехали в другой дом. С нами жила семья К-ых. Они продукты закрывали в сундуке — кусок хлеба да пять картошек. А во второй половине жила русская семья Бобылевых, у них был подвал, в котором они хранили картошку. Наши соседи чем-то это картошку вытягивали. С Бобылевыми мы дружили. У них сын игрушки мастерил, и мы вместе ходили к пекарне, выменивали игрушки на хлеб.

В классе и в школе к нам хорошо относились, а когда выйдешь из школы, тогда посторонние дети дразнили. У меня портфель был фанерный, как чемоданчик, вот я им дралась.

Но в то же время всегда относились с уважением к детям погибших красноармейцев. Мне в первом классе подарили карандаш, это было такое сокровище, далеко не у каждого был карандаш. Как-то полтора метра ситца дали. Выделяли детей погибших на фронте. Мне очень помогало это. По крайней мере, я ходила с гордо поднятой головой, уверенно. Если меня кто обзывал, я давала отпор. То, что отец мой погиб, мне давало уверенность, какой-то стержень.

Нормально в школу я стала ходить уже в 1951 г., это уже пятый класс, ходила за 15 км. Было трудно, но я хотела учиться и училась. Девочки моего возраста многие бросали учиться. У меня лицо было отморожено, а вода текла по щекам. Сейчас бы месяц дома сидели. А тогда на второй день в школу пошла. В деревне Ярки вообще пионеров не было, а в Ханты-Мансийске я вступила в пионеры.

Мама работала в колхозе, хотя и болела. Сестра нас из колхоза какими-то путями вырвала. Помню, как от коменданта бегали. Мы бежали ночью, чтобы комендант не засек, к сестре на лесозаготовки. Сестра старшая без спроса коменданта устроится на работу, нас потом заберет. Она не спрашивала у него, он все равно бы не разрешил. До 1950 г. она работала на лесозаготовках, это было страшное дело. Там в основном указники работали. Я видела, как там люди от голода ворон стреляли и ели, а все равно считалось, что там лучше, чем в колхозе. Большущий барак: в первой половине лошади, а во второй половине люди жили: и там все жили на нарах — и семейные, и холостые, и мужчины, и женщины. Сестра возила дрова в город, в Ханты-Мансийске было печное отопление. Они ей за работу давали щучьи головы. А у щуки — голова пустая, в ней мяса почти нет, но все равно что-то находили. Кони от голода дохли, их привязывали в стойле, и они на подтяжках стояли.

В Ханты-Мансийске сестра работала на рыбозаводе, на плашкоуте, за катером баржу тащат, они из специальных ледников забирали лед, они ездили и собирали улов по бригадам и отвозят на рыбоконсервный комбинат. Уже после 8-го класса я работала летом матросом, а сестра — приемщиком рыбы.

Потом она уже пошла на повышение, работала в магазине для рыбаков, тоже на плашкоуте.

Потом мы в Ханты-Мансийск переехали. Брату дали квартиру в 4-квартирном доме. Где мы только не жили. А до этого нас подселили в дом частный, поселили к семье новобрачных в спальню, у них там мать с отцом, брат с сестрой и нас — целая куча людей. И как мы жили? Вот так мы кочевали.

Мы жили еще ничего. Благодаря тому, что сестра такая активная была и что русский язык знали. Другие хуже жили. *Баһ дөрвүды*[2], которые по-русски не понимали, им труднее пришлось. Помню, про одну женщину рассказывали, она по-русски не понимала и ей сказали, чтобы научиться говорить по-русски, надо облизать язык русского человека. И она одну девочку поймала и хотела ее язык облизать, а та такой крик подняла, все решили, что она хочет эту девочку убить и съесть. Мы потом смеялись над этим.

А как нас везли на пароходе из Омска в Ханты-Мансийск... Молодежь танцевала, все собиралась на одном борту, и он вот так сильно кренится, мы на другую сторону переходили. Не все время ж плакали. Смешное тоже находили. А после 51 г. мы, наша семья, вообще жили хорошо. Сестра на этом плашкоуте ездила и в одной деревне с будущим мужем познакомилась. Сестра замуж вышла, муж работал продавцом. Муж ее был *баһ дөрвүд* Очир Арчиевич Арчиев. А там его звали Николай Николаевич. Русские имена всем давали. Ни за что русские не хотели калмыцкие имена говорить. Все рыбаки зятя уважали, лучшую рыбу ему — стерлядку, муксунчика. Мы такие пироги пекли! Свадьбу не делали, меня сестра к себе забрала, чтобы я по хозяйству помогала. Я была в третьем классе. Сестра лед рубила, это тяжелая работа. Лед размером с двухэтажный дом. Надо его колоть. Сестра еще рыбу разделывала. Через год мать к нам приехала. У нее уже экзема начиналась. Ее записали уборщицей, а работала я. Я мыла полы в магазине, на почте. Я за скотиной смотрела, воду носила, в огороде работала. Там деревушки маленькие, и в каждой деревушке была церковь. Там я закончила пять классов. Воду носили на коромыслах, зимой из проруби.

В 53 г., когда Сталин умер, 3 марта погода была теплая. Мы знали, что он болеет. Я дрова колола, тарелка одна на деревню и передавали. Мы все плакали. Стояли в почетном карауле в школе. Портрет Ленина у нас висел дома. Мама всегда говорила, что Ленин бәәсн бәәхлә, ийм юмн гарх болдго биш (если бы Ленин был жив, таких вещей не было бы. — *Э.-Б. Г.*). А мы говорили: «Мама, ну что ты понимаешь в политике?». Это потом мы что-то стали понимать про Сталина, а тогда все думали, что это Берия виноват.

Я была пионеркой, а как меня приняли — не знаю. Но приняли без всяких [преград]. Училась я неплохо и в классе всегда была на каких-то должностях: звеньевая, командир отряда. В самодеятельности участвовала. Ну, как сейчас показывают в «Минуте славы», акробатические номера, вот так и мы тогда. Я тогда чересчур самоуверенная была. Отец погиб на войне, так я через это прямо героем себя чувствовала. Если мне кто-нибудь что-нибудь скажет, я могла и глаза выдрать. Подружки мои все русские были, я же одна была калмычка. Помню, в седьмом классе одна девочка мне дала кусочек вареного сала. Я как попробовала — боже, до чего было вкусно.

[2] Одна из калмыцких этнических групп.

Я даже дружила с девочкой, ее отец в милиции был большим начальником. Они жили очень богато. А я училась хорошо, он не возражал против нашей дружбы, я ей физику объясняла. Я на дни рождения ходила к девочкам из семей верхушек Ханты-Мансийска.

В те годы училось много переростков. У нас один учился парень взрослый, 4-й класс закончил и женился. А мы, совсем дети, рядом.

Программу я усвоила и школу закончила неплохо, с одной тройкой по немецкому языку. Я учителя немецкого Перельмана не любила. Немцев мы ненавидели, немецкий никто не хотел учить. 10-й класс я закончила в 1957 г. в Ханты-Мансийске.

Мы и пастухами работали, скот пасли. Рядом с лесоповалом было село Нагорное. Мать на лето взялась пасти коров. Там хорошо платили. Ведро картошки, литр молока и 3 рубля в месяц. Пасти коров надо было в тайге. Поднимали с зарей. Я спать хочу, под каждое дерево прячусь поспать. Она меня найдет, трясет, будит и провожает дальше. Мать коров подоит и с коромыслом 5 км идет в Ханты-Мансийск это молоко продавать, нас же одевать надо.

Я помню, мы как-то с братом на поляну зашли, а там черника. Мы давай ее есть и уснули. Проснулись, а коров нет. Вот ужас! Коров было, наверное, 50. Потом нашли их. Мы здорово научились искать по следам. Представляешь, мы могли по следу понять, корова утром прошла, вчера или три дня назад. А еще мы ели бурундуков. Мясо варили, казалось очень вкусным. Человек так устроен, организм мяса требует.

К 52–55-м гг. к нам уже привыкли. Нормально мы жили, только что в комендатуру надо было каждый месяц ходить отмечаться. Мы приехали [в Сибирь] без документов, и здесь меня записали как 1937 г. р. Я со страхом думала, что и мне придется ходить отмечаться. А в 10-м классе я написала письмо на родину, и мне пришло подтверждение, что я 38 г. р. Таким образом, эта процедура с комендантом мне не досталась.

Я такая отчаянная была, меня все рекомендовали в комсомол. И на танцы ходила. В Ханты-Мансийске был клуб рыбаков — с паркетным полом, духовым оркестром. Танцевали в валенках и вальс, и танго, и фокстрот. Такие белые валенки, самые модные — фетровые. Первый парень на селе был Анатолий Куберлинов, мастер спорта по теннису.

Хальмгуд (калмыки. — *Э.-Б. Г.*) собирались на вечеринки — по очереди друг у друга. Праздники мы дома отмечали. Мать наша была не слишком богомольная, но все высчитывала, когда Цаган сар, когда Зул. Как мы стали жить более-менее, на Зул она всегда подарки приготовит, хоть ленту, но купит. В первый раз помню, она купила 2 стакана сметаны. Тогда *хальмгуд* не пили. Пьянства совсем не было. *Торһудмуд* и *дөрвдмуд*[3] отмечали по всем правилам. Мы-то обрусевшие, ну *зул өргәд* (лампадку зажигали. — *Э.-Б. Г.*), конечно. А они по всем правилам делали, на палке *зул* зажигали, и им сказали, что не надо, дома деревянные. А в Сибири мы дома всегда на калмыцком говорили, хотя мы все русский язык знали.

Однажды в Ярки приезжал к нам кто-то в форме красноармейца, сказали, что лама. Все услышали, прибежали и давай ему дарить все, что было, чтобы

[3] Торгуты и дербеты — основные этнические группы калмыцкого народа.

он *бу* (обереги) написал. И он всем писал бумажки. А потом дома кто-то *бу* развернул, а там мелко было написал «два–три», «два–три».

Нет, нас только в первое время гоняли, а потом уже нет. Ну и я отпор давала. Что хорошо училась — это помогало. А калмыки каждую весну надеялись вернуться домой. Там же выехать только летом можно.

Моя сестра хотела там остаться жить, она материально хорошо жила. Но мать не дала: домой, домой, домой. В 1957 г. услышали по радио, что автономия, и поехали. Мы вчетвером поехали в 57 г. до Тюмени на пароходе, а из Тюмени — на поезде. Нам с собой сухари дали. Там как-то только серый хлеб был, а белого совсем не было. Даже поговорка была: «ой, очередь как за белым хлебом».

Приехали в Ростов. Тогда Элиста называлась Степной. И пос. Яшалта назывался Степной. Мы говорим: «Нам в Степной». А водитель автобуса говорит: «Садитесь». Приехали в Яшалту вместо Элисты. Какие дружные калмыки были! С кем я была, не помню — то ли с Наташей Ховлюковой, то ли с Томой Баулкиной. Стоим на остановке. Подходит мужчина лет 40. «Вы куда приехали?» Мы: «В Степной». «Да вам в город надо. Следующий автобус завтра. Ну что будете стоять, пойдемте к нам». Мы приходим, а там столько людей, все приехали из Сибири. Но какие замечательные люди были. Нам маленькую комнатушку освободили — для нас двоих: *гиҗгтә күүкд* (девушек на выданье. — *Э.-Б. Г.*) почитали. Девушек, как чистых, уважали — наравне с мужчинами. Остальные спали на полу, как сельди в бочке. На второй день мы приехали в Элисту. Куда деваться? Тоже нас кто-то позвал, пойдемте, там наших много. Пришли туда, где сейчас 1-й корпус КГУ[4], там развалины были, после бомбежек не ремонтировали еще. И там *хальмгуд* ночевали — на картонках спали.

Там встретили Бату Бадмаевича Бадмаева. Я хотела поступать на медицинский или на юридический. Он говорит: «Девчонки, все заявления уже приняли. А я калмыцкое отделение открываю при Ставропольском пединституте, поехали со мной!». И мы сели в грузовик и поехали. Вот на фотографии мои однокурсницы Шура Бартунова, Света Натырова. Так мы закончили при Ставропольском пединституте учительское калмыцкое отделение. Республике требовались кадры. Нас первых выковали за два года. Как закончили калмыцкое, я тут же поступила на 3-й курс уже русского отделения. К нам хорошо относились, приезжали писатели, всегда нам встречи устраивали.

Один наш родственник, такой осторожный всегда, неизвестно, что там будет, здесь все есть, и он остался в Сибири. Сейчас в Ханты-Мансийске моя племянница живет. Уже отсюда уехала — теперь они сами едут.

Комментарии

Калмыки молчали о Сибири практически тридцать лет. Можно сказать, что только когда появляется спокойный связный рассказ об этом периоде, можно утверждать, что травматический эффект отдаленного события перестал работать, потому что травма депортации к 2008 г., когда состоялось одно из приведенных интервью, уже была проговорена: и государство своим Законом от

[4] Калмыцкий государственный университет.

26.04.1991 г. «О реабилитации репрессированных народов» признало свою неправоту, и люди стали рассказывать в газетах и на телевидении о пережитом.

Прибывших калмыков опережали слухи на местах прибытия, что они — «людоеды». Фадеевна из нарратива Р. Ц. Азыдовой боялась калмыков именно по этой причине, не хотела их селить у себя. Мы видим, что и в Омской, и в Новосибирской областях именно к приезду калмыков стали циркулировать страхи об их «каннибализме». Сосланные за нелояльность Советской власти, калмыки всячески дегуманизировались властями, начиная с языка документов, создаваемых в ходе проведения операции «Улусы» как «операции по изъятию и выселению лиц калмыцкой национальности» [Ссылка калмыков 1993: 42].

Одной калмычке сказали, чтобы научиться говорить по-русски, надо облизать язык русского человека. Она одну девочку поймала и хотела ее язык облизать, а та такой крик подняла, все решили, что она хочет эту девочку убить и съесть. Мы потом смеялись над этим.

В этом провокативном розыгрыше, принятом неграмотной женщиной за чистую монету, мы видим и ее желание заговорить, наконец, по-русски и готовность калмыков смеяться над собой в драматических обстоятельствах. Присутствие комического для рассказчицы в этой ситуации, как и в рассказе о том, как спасались люди при бомбежке, проявляет высокий накал только что пережитого страха, после которого разрядка смехом кажется самой простой. Кроме того, что смех «объединяет людей» [Козинцев 2007: 3], поводом для смеха «является то, к чему недавно относились серьезно» [Козинцев 2007: 28]. Обижавшее при встрече калмыков местным населением подозрение в каннибализме актуализировалось в данном контексте, и смех над глупой женщиной, над легковерным местным населением и над собой «отключал само обвинение, нейтрализуя тему» [Козинцев 2007: 44–45].

Оба приведенных повествования рассказывают о женских судьбах — не только рассказчиц, но и их матерей, которые, видимо, принадлежали одному поколению, но разным социально. Рядом с выпускницей КУТВа Авдотья была обычная сельская женщина: жена и мать — со всем набором традиционных навыков калмыцкой женщины, которые давали возможность работать в разных сферах и с трудом обеспечивали достаток в семье из пяти человек. Из-за ее болезни и, возможно, характера лидером семьи становится старшая дочь, которая взяла инициативу в свои руки еще в железнодорожном вагоне: она не только энергичная, но и инициативная и смелая, предпочитающая самой решать, где ей работать, а не просить разрешения у коменданта.

Как и в предыдущих публикациях нарративов о депортации калмыков, мы встречаемся с рядом ситуаций, которые, видимо, были типичны для многих высланных калмыков: это сюжет о том, как при заболевании калмыки обращаются не в больницу, а к лекарям народной медицины, не раз всплывавший сюжет о младенческой смертности, а также и упомянутая готовность защищаться в любую минуту, если тебя заденут, была у многих калмыцких детей: приходилось жестко пресекать задиру, защищать девочкам себя, в том числе физически.

Выбор такого жизненного сценария, в котором женщина сама становится его автором, — это осознанно модернизированный подход к женским социальным ролям в обществе. Если в традиционной семье девушку готовили к замужеству, в котором муж должен обеспечивать свою семью, то теперь ставка делается не на возможного зятя, а на дочь, для которой в приоритете получение образования, следовательно, достойной работы.

История жизни Р. Ц. Азыдовой интересна тем, что она принадлежит второму поколению калмыцкой советской интеллигенции: отец — журналист, мама — юрист, сотрудник горкома ВКП(б). Мы чуть больше узнаем о том, как жили элистинцы того круга. Как замужние калмычки с детьми уезжали на учебу в КУТВ, как мужья могли оставаться дома с другим ребенком на руках. Это была государственная политика коренизации, которая должна была восполнить нехватку местных кадров в республиках. И выпускница КУТВ получила хорошую подготовку. Она не просто справлялась с ответственной работой в горкоме ВКП(б), но и в сложных сибирских условиях могла преподавать общественные науки, опасные для разночтений при толковании, включая такой предмет, как Конституция.

6-й жилдом, в котором жила Рая Азыдова, стоит и поныне. Дом хранит в себе много историй, связанных с известными людьми, ведь он почти что элистинский Дом на Набережной. Неожиданно всплыли сюжет о соседях и сложная романтическая история, связанная с именем Б. Джимбеева и его песней «Нюдля». Наверное, это самая известная калмыцкая песня советского времени. Теперь мы знаем больше об истории ее создания и видим, что шедевры не рождаются из ничего, их создание сопровождается не только любовью, но и страданием, мучительным выбором, болью.

Как мы знаем, в травматической памяти, особенно женской, необходимо присутствует телесность. Обычно это память о голоде, холоде, неудобной одежде, усталости, тяжести груза и подобном дискомфорте. В этом рассказе мы встречаемся с концентрированным выражением травматической телесности: девочка запомнила на всю жизнь защищающее тело отца, помнит звуки всплесков воды, и конечно, перед нами классический пример отцовской любви и готовности к самопожертвованию. Чувство защищенности отразилось в слове «укрытая».

Немцы рвались в Астрахань к заводу Ленина. И мы попали под бомбежку. Бомбы падали в воду, и я слышала всплески воды от бомб. Помню, я лежу, вся такая укрытая. Папа закрывал меня своим телом.

Предновогоднее время, на которое была назначена операция «Улусы», было связано с подготовительными хлопотами школьников для бала-маскарада. Рая приготовила костюм: Герб Советского Союза. Такую искреннюю индоктринацию нам трудно представить, но, возможно, здесь сыграла роль и маскарадность бала, которая широко использовала господствовавшие в обществе символы: «Я помню, у меня на голове была сделана башня Кремля, тут глобус, тут колосья, тут написано „Пролетарии все стран, соединяйтесь!“». Но костюм Рае надеть не пришлось.

Интересно, что, когда мать ночью на 28 декабря говорит Рае, что надо просыпаться и собираться в дорогу, куда едут все, она задает очень точный вопрос: «А дядя Нальджи тоже едет?». Живший в том же доме Нальджи Лиджиевич Гаряев был председателем СНК Калмыцкой АССР. Он был самым влиятельным калмыком, представлявшим государственную власть. Вопрос девочки подразумевал: представители государства тоже с нами? Не то что ребенку, но и взрослому человеку было трудно представить, что калмыцкая государственность может быть упразднена.

Эта же отношение к учебе как главному занятию школьника, желание быть достойным членом общества видны в отношении к учебе. Если представить шок партийного работника от ликвидации республики, от тяжелого переезда в Сибирь, от страха местных перед пришедшими ночевать «людоедами», первая после скотского вагона ночь на полу чужого дома и наутро с рассветом:

Мама одевается. «Ты куда?». Мама: «Пойду найду школу, ты уже сколько пропустила, уже 20 января». Ушла. Потом приходит и говорит: «Завтра пойдешь в школу, но в 8 класс».

Что касается жизненного выбора, то для Раи выбор был связан с учебой. Приезжали свататься калмыки, но она и не рассматривает возможность замужества с незнакомым или малознакомым человеком. Для нее есть пример — ее мать, которая обладает не только компетенциями, позволяющими работать в бухгалтерии, в училище и в школе — и устраиваться на работу везде, чтобы жить рядом с дочерью. Более того, Кооку Нарановна хорошо понимала, по каким законам работают крайоно, и за полгода до распределения дочери устраивалась в райцентре в школу, в которой нашлось место для обеих.

Повествование Т. С. Качановой полно воспоминаний о дорогах — и это все трудные, вынужденные переселения задолго до 1943 г. Из Башанты — на Кавказ на телеге, запряженной лошадью, с опухшими от голода детьми, и обратно — на телеге, которую тащат коровы, под бомбежками оккупантов. Кроме тяжелой дороги в Омскую область, семью Качановых весной 1944 г. перевезли в Тюменскую область, оттуда в Ханты-Мансийск. Эти маршруты обобщаются красноречивой репликой: так мы кочевали.

Ее нарратив наполнен травматическими знаками, и в первую очередь — это лексика смерти. В сюжете о дороге упоминается труп старика, который удлиняется от мороза, и если девочка вначале отвердевания трупа лежала головой вплотную к его ногам, то к концу второй недели ей пришлось лежать головой уже на ногах. Не только живые люди ехали две недели вместе с трупом, но и некоторые живые, особенно шокированные произошедшим, бывшие ответственные работники ликвидированной Калмыцкой республики, «лежали молча, как трупы». От остановки в военном госпитале в памяти остались увиденные «части тела: руки, ноги — говорили, что от раненых остается». Только одни эти «части тела» могли травмировать девочку дошкольного возраста. И она все запомнила, как и тот маленький кусочек мыла, что давали калмыкам в бане, и которые кто-то от голода ел…. Раньше мыло считалось трагическим

мемом Холокоста, но его драматическое присутствие проявляется и в истории калмыков.

Особенно ценными представляются рассказы о кризисной пище — той, которую едят в отсутствие обычной еды. Это и мерзлая картошка, и ворованное с большим риском зерно (ячмень или просо в зернах — скорее еда для скота). Снова этой едой становится падаль — и даже мне, калмычке, рассказчица говорит «хальмгуд», вроде как информация становится еще более конфиденциальной. … «А еще мы ели бурундуков», а кто-то стрелял ворон для еды.

Первое жилье — домик, в которой разместились в одной комнате 2 семьи — 8 человек. Современный человек сразу подумает об отсутствии личного пространства, но для тех лет и тех обстоятельств это были не самые плохие условия, тем более что бывшие кулаки делились своим опытом: «нас бросили прямо в лес».

И как у многих калмыков, высланных детьми, в ее голове должны уживаться противоречивые проявления по отношению к себе со стороны государства: она спецпереселенка, она выслана как калмычка — как изменница. И в то же время девочка получает подарки от государства как дочь погибшего фронтовика. Уязвимость внесудебного обвинения и противоречивой государственной политики ощущалась даже ребенком. Также парадоксальным кажется факт, что высланная калмычка оказалась учителем вечерней школы, в классе которой сидели сотрудники комендатуры для спецпереселенцев. Педагог осуществляет власть в классе, по крайней мере в течение урока. Может быть, мягкая манера преподавания Р. Ц. Азыдовой в некоторой степени влияла и на комендантов, которые приносили своей учительнице журнал, чтобы она расписалась в школе, а не в комендатуре.

Телесность как маркер травматической памяти отражается не только в нехватке еды, но и в нехватке одежды, отраженной в школьном расписании. Какой удивительный у Тамары учебный год: советские государственные праздники (7 ноября и 1 мая) отмеряют относительно теплый сезон, в котором в Сибири можно было ходить школу в той одежде и обуви, что есть, и холодный сезон, для которого нужна специальная теплая одежда и обувь.

Если пытаться реконструировать осколки традиционного мировоззрения, передаваемого рассказчицами через слова и поступки старших, то в рассказе Т. С. Качановой мы встречаем редкое свидетельство о почитании девушек на выданье.

Каждый рассказ о прожитой жизни имеет свои педагогические цели, часто не артикулируемые рассказчиком прямо. В первом интервью звучит тема о важности дружбы. Раиса Цебековна в Сибири переписывалась со своей лучшей подругой по Элисте, которая не была депортирована, — Кларой Педеровой (мама — русская, а папа женат на другой), которая смогла в 1947 г. приехать из Житомира в гости на каникулы, и во Фрунзе встретить друзей по Элисте и вместе навещать друзей в Алма-Ате.

Во втором интервью мы увидели пример трудолюбия и готовности работать в любой сфере, чтобы семья была лучше обеспечена, верность интересам семьи.

Сибирь стала для Раисы и Тамары важным местом взросления, школой социальности, в которой обе девушки учились успешно. «Мне везло в жизни», — скажет Раиса Цебековна. Оба приведенных интервью — позитивные в терминах Джефри Александера [Александер 2013: 164]. Испытания, которые выпали на их долю, были пережиты в Сибири, и там остались.

Литература

Александер 2013 — *Александер Д.* Смыслы социальной жизни: культур-социология / пер. с англ. Г. Ольховикова. М.: Праксис, 2013. 639 с.

Гучинова 2005 — *Гучинова Э.-Б. М.* У каждого своя Сибирь // Антропологический форум. 2005. № 3. С. 400–442.

Гучинова 2008 – *Гучинова Э.-Б. М.* У каждого своя «Сибирь». Ссыльные калмыки в Средней Азии // Диаспоры. 2008. № 1. С. 194–220.

Гучинова 2016 — *Гучинова Э.-Б. М.* Рисовать лагерь. Язык травмы в памяти японских военнопленных о СССР. Саппоро: Изд-во ун-та Хоккайдо, 2016. 220 с.

Гучинова 2019а — *Гучинова Э.-Б. М.* У каждого своя Сибирь. Две истории о депортации калмыков (интервью с С. М. Ивановым и С. Э. Нарановой) // Oriental Studies. 2019. № 3. С. 397–422.

Гучинова 2019б — *Гучинова Э.-Б. М.* У каждого своя Сибирь. Интервью с В. П. Санчировым // Монголоведение. 2019. № 3. С. 543–563.

Гучинова 2019в — *Гучинова Э.-Б. М.* У каждого своя Сибирь. Биографическое интервью с Е. А. Буджаловым. Введение // Бюллетень Калмыцкого научного центра РАН. 2019. № 1. С. 222–269.

Козинцев 2007 — *Козинцев А. Г.* Человек и смех. СПб.: Алетейя, 2007. 236 с.

Спивак 2001 — *Спивак Г. Ч.* Могут ли угнетенные говорить? // Введение в гендерные исследования. Ч. II. Хрестоматия. Харьков, СПб.: Алетейя, 2001. С. 649–670.

Ссылка калмыков 1993 — Ссылка калмыков: как это было. Книга памяти ссылки калмыцкого народа. Т. 1. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1993. 262 с.

Томпсон 2003 — *Томпсон Пол*. Голос прошлого. Устная история. М.: Весь мир, 2003. 368 с.

References

Alexander J. C. The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology. G. Olkhovikov (transl.). Moscow: Praksis, 2013. 639 p. (In Russ.)

Bakaev P. D. et al. (comps.), Maksimov K. N. et al. (eds.) Deportation of the Kalmyks: How It Was. The Kalmyk People's Memorial Book. Vol. 1. Book 1. Elista: Kalmyk Book Publ., 1993. 262 p. (In Russ.)

Guchinova E.-B. M. 'Everyone Has One's Own Siberia': Two Stories of the Kalmyk Deportation (Interviews with S. M. Ivanov and S. E. Naranova). *Oriental Studies*. 2019. No. 3. Pp. 397–422. (In Russ.) DOI: 10.22162/2619-0990-2019-43-3-397–422

Guchinova E.-B. M. 'Everyone's Got His Own Siberia': a Biographical Interview with Vladimir P. Sanchirov. *Mongolian Studies*. 2019. No. 3. Pp. 543–563. (In Russ.) DOI: 10.22162/2500-1523-2019-3-543-563

Guchinova E.-B. M. 'Everyone's Got His Own Siberia': a Biographical Interview with Yegor A. Budzhalov. *Bulletin of the Kalmyk Scientific Center of the RAS*. 2019. No. 1. Pp. 222–269. (In Russ.)

Guchinova E.-B. M. Drawing the Confinement Camp: Language of Trauma in Memoirs of Japanese POWs about the USSR. Sapporo: Hokkaido University Press, 2016. 220 p. (In Jap.)

Guchinova E.-B. M. Everyone has one's own Siberia. *Forum for Anthropology and Culture*. 2005. No. 3. Pp. 400–442. (In Russ.)

Guchinova E.-B. M. Everyone has one's own Siberia: deported Kalmyks in Soviet Central Asia. *Diaspory*. 2008. No. 1. Pp. 194–220. (In Russ.)
Kozintsev A. G. Man and Laughter. St. Petersburg: Aletheia, 2007. 236 p. (In Russ.)
Spivak G. Ch. Can the suppressed speak? In: Zherebkin S. V. (ed.) An Introduction to Gender Studies. Vol. II. Chrestomathy. Kharkov, St. Petersburg: Aletheia, 2001. Pp. 649–670. (In Russ.)
Thompson P. The Voice of the Past: Oral History. Moscow: Ves' Mir, 2003. 368 p. (In Russ.)